



ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

НА БЫТИЙНОМ ВЕТРУ

* * *

Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра,
погоды у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
словно тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.

Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

Смотрит осень вприщур,
зензивер, убещур
и прорехи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи, наконец,
про твои золотые заботы.

Ведь запомнит вода
у запруды пруда,
что не входят в поток её дважды,
то, что свет — это тьма,

что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,

медь и камедь сосны,
свет молочный луны,
облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.

* * *

Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, —
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь.
Огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, —
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд,
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Из тьмы троллейбус вынырнул и встал
и вновь умчался с дребезгом тележным.
Как подстаканник круглый пьедестал,
на нём поэт мечтательно-мятежный,
но как бы озабоченный слегка,
что он, как перст, торчит на белом свете,
что оттопырил полу сюртука
весьма кустарно выполненный ветер.
Хотелось бы цитату привести —
жестокий век, надменные потомки, —
но вновь троллейбус, провод сжав в горсти,
мгновенной вспышкой разорвёт потёмки.
Электровспышка застаёт врасплох
(вот так на стенд «Не проходите мимо» —
жестокий век! — снимают выпивох).
И мы уже рассматриваем снимок.
Высотный дом из светло-серых плит,
поёт цикада родом из Тамани,
нет, не цикада — мелочью гремит
прохожий в оттопыренном кармане.

Хотелось бы задуматься, скорбя,
под шелест лип хотелось бы забыться,
но вновь пронзает воздух октября
электроангел с электрозеницей.
Шуршит листва, как будто дело в том,
чтобы цитату отыскать прилежно,
как будто выдан каждой липе том
с закладкой и пометкою небрежной,
как будто бы цитата подтвердит
весь этот мир, что только с бездной дружен,
а пение электроаонид
внесёт гармонию в измученные души.
Нога скользит — как зыбок здесь гранит,
разверзлась пропасть — страшно без привычки,
кремнистый путь над бездною блестит,
и здесь поставить надо бы кавычки.
Прекрасен мир с приставкой электро-,
мир без приставки тоже нам приветен.
И вход в метро и выход из метро
как ноздри демона, вдыхающего ветер.

* * *

Вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у Рембрандта
крепкая пятка блудного сына

Манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской, фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,
с ветром от стужи сутулым и пьяным.
Время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

Всё позади — и вокзалы и палубы,
угли костров и остывшие клятвы
на горизонте леса словно жалобы —
так же случайны и также невняты.

В общем, ни прибыло жизни, ни убыло,
да и неважно, чуть больше, чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.

* * *

Когда я возвращался из Китая,
на родине весна цвела золотая,

и борозды весенних синих пахот
ребрились, словно кровли древних пагод.

Я возвращался праздно, налегке
и вспоминал верховья Хуанхэ,

где шелестит бамбуковая роща
раkitок наших, может быть, не проще,

где в ночь летят клекочущие гуси
и, цинь оставив, предаёшься грусти.

Я ничего не вывез из Китая.
Страна огромная и вовсе не пустая,

ветра сметают пыль с пространных плоскогорий,
там тоже есть любовь, и смерть, и жизнь, и горе.

И понял я, увидев снег Памира, —
не надо никакого сувенира.

ТРАМВАЙ

Листвы сентябрьской свара,
Москвы полночной глыба,
где в кулаке бульвара
трамвай зажат, как рыба.

Сейчас он тронет тихо,
как будто наугад,
и заискрит на стыках
трамвайная дуга.

Усталых пассажиров
не замечает взгляд
деревьев, по ранжиру
построившихся в ряд.

Над ними в горней выси
безмолвные круги
созвездий, словно искры,
слетевшие с дуги.

Трамвай гремит всё глуше,
на вираже кренясь,
с затихшим миром души
поддерживают связь.

Тела покоя жаждут,
глядят в ночную тьму,
на остановке каждой
сходя по одному.

НОЧНАЯ ГРОЗА

С тоскою кочевья,
с натугой корчевья,
томясь электрической силой сухой,
касаясь губами верхушек деревьев,
на крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
уступы и арки в себе громоздя,
изломанной молнией вдруг осветила
блестящие мышцы дождя...

